

Татьяна Толстая. Соня (рассказ)

Жил человек -- и нет его. Только имя осталось -- Соня. "Помните, Соня говорила..." "Платье похожее, как у Сони..." "Сморкаешься, сморкаешься без конца, как Соня..." Потом умерли и те, кто так говорил, в голове остался только след голоса, бестелесного, как бы исходящего из черной пасти телефонной трубки. Или вдруг раскроется, словно в воздухе, светлой фотографией солнечная комната -- смех вокруг накрытого стола, и будто гиацинты в стеклянной вазочке на скатерти, тоже изогнувшиеся в кудрявых розовых улыбках. Смотри скорей, пока не погасло! Кто это тут? Есть ли среди них тот, кто тебе нужен? Но светлая комната дрожит и меркнет, и уже просвечивают марлей спины сидящих, и со страшной скоростью, распадаясь, уносятся вдаль их смех -- догони-ка. Нет, постойте, дайте нас; рассмотреть! Сидите, как сидели, и назовитесь по порядку! Но напрасны попытки ухватить воспоминания грубыми телесными руками, веселая смеющаяся фигура оборачивается большой, грубо раскрашенной тряпичной куклой, валится со стула, если не подоткнешь ее сбоку; на бессмысленном лбу потеки клея от мочального парика, и голубые стеклянные глазки соединены внутри пустого черепа железной дужкой со свинцовым шариком противовеса. Вот чертова перечница!

А ведь притворялась живой и любимой! А смеющаяся компания порхнула прочь и, поправ тугие законы пространства и времени, щебечет себе вновь в каком-то недоступном закоулке мира, вовеки нетленная, нарядно бессмертная, и, может быть, покажется вновь на одном из поворотов пути -- в самый неподходящий момент и, конечно, без предупреждения.

Ну раз вы такие -- живите как хотите. Гоняться за вами -- все равно что ловить бабочек, размахивая лопатой. Но хотелось бы поподробнее узнать про Соню.

Ясно одно -- Соня была дура. Это ее качество никто никогда не оспаривал, да теперь уж и некому. Приглашенная в первый раз на обед -- в далеком, желтоватой дымкой подернутом тридцатом году, -- истуканом сидела в торце длинного накрахмаленного стола, перед конусом салфетки, свернутой, как было принято -- домиком. Стыло бульонное озерцо. Лежала праздная ложка. Достоинство всех английских королей, вместе взятых, заморозило Сонины лошадиные черты.

-- А вы, Соня, -- сказали ей (должно быть, добавили и отчество, но теперь оно уже безнадежно утрачено), -- а вы, Соня, что же не кушаете?

-- Перцу дожидаюсь, -- строго отвечала она ледяной верхней губой.

Впрочем, по прошествии некоторого времени, когда уже выяснились и Сонины незаменимость на кухне в предпраздничной суете, и швейные достоинства, и ее готовность погулять с чужими детьми и даже посторожить их сон, если все шумной компанией отправляются на какое-нибудь неотложное

увеселение, -- по прошествии некоторого времени кристалл Сониной глупости засверкал иными гранями, восхитительными в своей непредсказуемости. Чуткий инструмент, Сонины душа улавливала, очевидно, тональность настроения общества, пригревшего ее вчера, но, зазевавшись, не успевала перестроиться на сегодня. Так, если на поминках Соня бодро вскрикивала: "Пей до дна!" -- то ясно было, что в ней еще живы недавние именины, а на свадьбе от Сониных тостов веяло вчерашней кутьей с гробовыми мармеладками.

"Я вас видела в филармонии с какой-то красивой дамой: интересно, кто это?" -- спрашивала Соня у растерянного мужа, перегнувшись через его помертвевшую жену. В такие моменты насмешник Лев Адольфович, вытянув губы трубочкой, высоко подняв лохматые брови, мотал головой, блеснул мелкими очками: "Если человек мертв, то это надолго, если он глуп, то это навсегда!" Что же, так оно и есть, время только подтвердило его слова.

Сестра Льва Адольфовича, Ада, женщина острая, худая, по-змеиному элегантная, тоже попавшая однажды в неловкое положение из-за Сониного идиотизма, мечтала ее наказать.

Ну, конечно, слегка -- так, чтобы и самим посмеяться, и дурочке доставить небольшое развлечение. И они шептались в углу -- Лев и Ада, -- выдумывая что поостроумнее.

Стало быть, Соня шила... А как она сама одевалась? Безобразно, друзья мои, безобразно! Что-то синее, полосатое, до такой степени к ней не идущее! Ну вообразите себе: голова как у лошади Пржевальского (подметил Лев Адольфович), под челюстью огромный висячий бант блузки торчит из твердых створок костюма, и рукава всегда слишком длинные. Грудь впалая, ноги такие толстые -- будто от другого человеческого комплекта, и косолапые ступни. Обувь набок снашивала. Ну, грудь, ноги -- это не одежда... Тоже одежда, милая моя, это тоже считается как одежда! При таких данных надо особенно соображать, что можно носить, чего нельзя!.. Брошка у нее была -- эмалевый голубок. Носила его на лацкане жакета, не расставалась. И когда переодевалась в другое платье -- тоже обязательно прицепляла этого голубка.

Соня хорошо готовила. Торты накручивала великолепные. Потом вот эту, знаете, требуху, почки, вымя, мозги -- их так легко испортить, а у нее выходило -- пальчики оближешь. Так что это всегда поручалось ей. Вкусно, и давало повод для шуток. Лев Адольфович, вытягивая губы, кричал через стол: "Сонечка, ваше вымя меня сегодня просто потрясает!" -- и она радостно кивала в ответ. А Ада сладким голосом говорила: "А я вот в восторге от ваших бараньих мозгов!" -- "Это телячьи", -- не понимала Соня, улыбаясь. И все радовались: ну не прелесть ли?!

Она любила детей, это ясно, и можно было поехать в отпуск, хоть в Кисловодск, и оставить на нее детей и квартиру -- поживите пока у нас, Соня, ладно? -- и, вернувшись, найти все в отменном порядке: и пыль вытерта, и дети румяные, сытые, гуляли каждый день и даже ходили на экскурсию в музей, где Соня служила каким-то там научным хранителем, что ли; скучная жизнь у этих музейных хранителей, все они старые девы. Дети успевали привязаться к ней и огорчались, когда ее приходилось перебрасывать в другую семью. Но ведь нельзя же быть эгоистами и пользоваться Соней в одиночку: другим она тоже могла быть нужна. В общем, управлялись, устанавливали какую-то разумную очередь.

Ну что о ней еще можно сказать? Да это, пожалуй, и все! Кто сейчас помнит какие-то детали? Да за пятьдесят лет никого почти в живых не осталось, что вы! И столько было действительно интересных, по-настоящему содержательных людей, оставивших концертные записи, книги, монографии по искусству. Какие судьбы! О каждом можно говорить без конца. Тот же Лев Адольфович, негодяй в сущности, но умнейший человек и в чем-то миляга. Можно было бы порасспрашивать Аду Адольфовну, но ведь ей, кажется, под девяносто, и -- сами понимаете... Какой-то там случай был с ней во время блокады. Кстати, связанный с Соней. Нет, я плохо помню. Какой-то стакан, какие-то письма, какая-то шутка.

Сколько было Соне лет? В сорок первом году -- там ее следы обрываются -- ей должно было исполниться сорок. Да, кажется, так. Дальше уже просто подсчитать, когда она родилась и все такое, но какое это может иметь значение, если неизвестно, кто были ее родители, какой она была в детстве, где жила, что делала и с кем дружила до того дня, когда вышла на свет из неопределенности и села дожидаться перцу в солнечной, нарядной столовой.

Впрочем, надо думать, что она была романтична и по-своему возвышенна. В конце концов, эти ее банты, и эмалевый голубок, и чужие, всегда сентиментальные стихи, не вовремя срывавшиеся с губ, как бы выплюнутые длинной верхней губой, приоткрывавшей длинные, костяного цвета зубы, и любовь к детям -- причем к любым, -- все это характеризует ее вполне однозначно. Романтическое существо. Было ли у нее счастье? О да! Это -- да! уж что-что, а счастье у нее было.

И вот надо же -- жизнь устраивает такие штуки! -- счастьем этим она была обязана всецело этой змее Аде Адольфоне. (Жаль, что вы ее не знали в молодости. Интересная женщина.)

Они собрались большой компанией -- Ада, Лев, еще Валериан, Сережа, кажется, и Котик, и кто-то еще -- и разработали уморительный план (поскольку идея была Адина, Лев

называл его "адским планчиком"), отлично им удавшийся. Год шел что-нибудь такое тридцать третий. Ада была в своей лучшей форме, хотя уже и не девочка, -- фигурка прелестная, лицо смуглое с темно-розовым румянцем, в теннис она первая, на байдарке первая, все ей смотрели в рот. Аде было даже неудобно, что у нее столько поклонников, а у Сони -- ни одного. (Ой, умора! У Сони -- поклонники?!) И она предложила придумать для бедняжки загадочного воздыхателя, безумно влюбленного, но по каким-то причинам никак не могущего с ней встретиться лично. Отличная идея! Фантом был немедленно создан, наречен Николаем, обременен женой и тремя детьми, поселен для переписки в квартире Адиного отца -- тут раздались было голоса протеста: а если Соня узнает, если сунется по этому адресу? -- но аргумент был отвергнут как несостоятельный: во-первых, Соня

дура, в том-то вся и штука; ну а во-вторых, должна же у нее быть совесть -- у Николая семья, неужели она ее возьмется разрушить? Вот, он же ей ясно пишет, -- Николай то есть, -- дорогая, ваш незабываемый облик навеки отпечатался в моем израненном сердце (не надо "израненном", а то она поймет буквально, что инвалид), но никогда, никогда нам не суждено быть рядом, так как долг перед детьми... ну и так далее, но чувство, -- пишет далее Николай, -- нет, лучше: истинное чувство -- оно согреет его холодные члены ("То есть как это, Адочка?" -- "Не мешайте, дураки!") путеводной звездой и всякой там пышной розой. Такое вот письмо. Пусть он видел ее, допустим, в филармонии, любовался ее тонким профилем (тут Валериан просто свалился с дивана от хохота) и вот хочет, чтобы возникла такая возвышенная переписка. Он с трудом узнал ее адрес. Умоляет прислать фотографию. А почему он не может явиться на свидание, тут-то дети не помешают? А у него чувство долга. Но оно ему почему-то ничуть не мешает переписываться? Ну тогда пусть он парализован. До пояса. Отсюда и хладные члены. Слушайте, не дурите! Надо будет -- парализуем его попозже. Ада брызгала на почтовую бумагу "Шип-ром", Котик извлек из детского гербария засушенную незабудку, розовую от старости, совал в конверт. Жить было весело!

Переписка была бурной с обеих сторон. Соня, дура, клюнула сразу. Влюбилась так, что только оттаскивай. Пришлось слегка сдерживать ее пыл: Николай писал примерно одно письмо в месяц, притормаживая Соню с ее разбушевавшимся купидоном.

Николай изощрялся в стихах: Валериану пришлось попотеть. Там были просто перлы, кто понимает, -- Николай сравнивал Соню с лилией, лианой и газелью, себя -- с соловьем и джейраном, причем одновременно. Ада писала прозаический текст и осуществляла общее руководство, останавливая своих резвившихся приятелей, дававших советы Валериану: "Ты напиши ей, что она -- гну. В смысле антилопа. Моя божественная гну, я без тебя иду ко дну!" Нет, Ада была на высоте: трепетала Николаевой нежностью и разверзала глубины его одинокого мятущегося духа, настаивала на необходимости сохранять платоническую чистоту отношений и в то же время подпускала намек на разрушительную страсть, время для проявления коей еще почему-то не пришло. Конечно, по вечерам Николай и Соня должны были в назначенный час поднять взоры к одной и той же звезде. Без этого уж никак. Если участники эпистолярного романа в эту минуту находились поблизости, они старались помешать Соне раздвинуть занавески и украдкой бросить взгляд в звездную высь, звали ее в коридор: "Соня, подите сюда на минутку... Соня, вот какое дело...", наслаждаясь ее смятением: заветный миг надвигался, а Николаев взор рисковал проболтаться попусту в окрестностях какого-нибудь там Сириуса или как его -- в общем, смотреть надо было в сторону Пулкова.

Потом затея стала надоедать: сколько же можно, тем более что из томной Сони ровным счетом ничего нельзя было вытянуть, никаких секретов; в наперсницы к себе она никого не допускала и вообще делала вид, что ничего не происходит, -- надо

же, какая скрытная оказалась, а в письмах горела неугасимым пламенем высокого чувства, обещала Николаю вечную верность и сообщала о себе все-превсе: и что ей снится, и какая пичужка где-то там прощевтала. Высылала в конвертах вагоны сухих цветов, и на один из Николаевых дней рождения послала ему, отцепив от своего ужасного жакета, свое единственное украшение: белого эмалевого голубка. "Соня, а где нее ваш голубок?" --

"Улетел", -- говорила она, обнажая костяные лошадиные зубы, и по глазам ее ничего нельзя было прочесть. Ада все собиралась умертвить, наконец, обременявшего ее Николая, но, получив голубка, слегка содрогнулась и отложила убийство до лучших времен. В письме, приложенном к голубку, Соня клялась непременно отдать за Николая свою жизнь или пойти за ним, если надо, на край света.

Весь мыслимый урожай смеха был уже собран, проклятый Николай каторжным ядром путался под ногами, но бросить Соню одну, на дороге, без голубка, без возлюбленного, было бы бесчеловечно. А годы шли; Валериан, Котик и, кажется, Сережа по разным причинам отпали от участия в игре, и Ада мужественно, угрюмо, одна несла свое эпистолярное бремя, с ненавистью выпекая, как автомат, ежемесячные горячие почтовые поцелуи. Она уже сама стала немного Николаем, и порой в зеркале при вечернем освещении ей мерещились усы на ее смугло-розовом личике. И две женщины на двух концах Ленинграда, одна со злобой, другая с любовью, строчили друг другу письма о том, кого никогда не существовало.

Когда началась война, ни та ни другая не успели эвакуироваться. Ада копала рвы, думая о сыне, увезенном с детским садом. Было не до любви. Она съела все, что было можно, сварила кожаные туфли, пила горячий бульон из обоев -- там все-таки было немного клея. Настал декабрь, кончилось все. Ада отвезла на саночках в братскую могилу своего папу, потом Льва Адольфовича, затопила печурку Диккенсом и негнушимися пальцами написала Соне прощальное Николаево письмо. Она писала, что все ложь, что она всех ненавидит, что Соня -- старая дура и лошадь, что ничего не было и что будьте вы все прокляты. Ни Аде, ни Николаю Дальше жить не хотелось. Она отперла двери большой отцовской квартиры, чтобы похоронной команде легче было войти, и легла на диван, навалив на себя пальто папы и брата.

Неясно, что там было дальше. Во-первых, это мало кого интересовало, во-вторых, Ада Адольфовна не очень-то разговорчива, ну и, кроме того, как уже говорилось, время! Время все съело. Добавим к этому, что читать в чужой душе трудно: темно, и дано не всякому. Смутные домыслы, попытки догадок -- не больше.

Вряд ли, я полагаю, Соня получила Николаеву могильную весть. Сквозь тот черный декабрь письма не проходили или же шли месяцами. Будем думать, что она, возведя полуслепые от голода глаза к вечерней звезде над разбитым Пулковом, в этот день не почувствовала магнетического взгляда своего возлюбленного и поняла, что час его пробил. Любящее сердце -- уж говорите, что хотите -- чувствует такие вещи, его не обманешь. И, догадавшись, что пора, готовая испепелить себя ради спасения своего единственного, Соня взяла все, что у нее было - баночку довоенного томатного сока, сбереженного для такого вот смертного случая, -- и побрела через весь Ленинград в квартиру умирающего Николая. Сока там было ровно на одну жизнь.

Николай лежал под горой пальто, в ушанке, с черным страшным лицом, с запекшимися губами, но гладко побритый. Соня опустилась на колени, прижалась глазами к его отекающей руке со сбитыми ногтями и немножко поплакала. Потом она напоила его соком с ложечки, подбросила книг в печку благословила свою счастливую судьбу и ушла с ведром за водой, чтобы больше никогда не вернуться- бомбили в тот день сильно.

Вот, собственно, и все, что можно сказать о Соне. Жил человек -- и нет его. Одно имя осталось.

...-- Ада Адольфовна, отдайте мне Сонины письма.

Ада Адольфовна выезжает из спальни в столовую, поворачивая руками большие колеса инвалидного кресла. Сморщенное личико ее мелко трясется. Черное платье прикрывает до пят безжизненные ноги. Большая камейка приколотая у горла. На камее кто-то кого-то убивает: щиты, копыя, враг изящно упал.

-- Письма?

Письма, письма, отдайте мне Сонины письма

-- Не слышу!

Слово "отдайте" она всегда плохо слышит раздраженно шипит жена внука, косясь на каменю.

-- Не пора ли обедать? -- шамкает Ада Адольфовна.

Какие большие темные буфеты, какое тяжелое столовое серебро в них, и вазы, и всякие запасы: чай, варенья, крупы, макароны. Из других комнат тоже виднеются буфеты, буфеты, гардеробы, шкафы -- с бельем, с книгами, со всякими вещами. Где она хранит пачку Сониных писем, ветхий пакетик, перехваченный бечевкой, потрескивающий от сухих цветов, желтоватых и прозрачных, как стрекозиные крылья? Не помнит или не хочет говорить? Да и что толку -- приставать к трясущейся парализованной старухе! Мало ли у нее самой было в жизни трудных дней? Скорее всего она бросила эту пачку в огонь, встав на распухшие колени в ту ледяную зиму, во вспыхивающем кругу минутного света, и, может быть, робко занявшись вначале, затем быстро чернея с углов, и, наконец, взвившись столбом гудящего пламени, письма согрели, хоть на краткий | миг, ее скрюченные, окоченевшие пальцы. Пусть так. Вот только белого голубка, я думаю, она должна была оттуда вынуть. Ведь голубков огонь не берет.